

Воспоминания о Бакунине Адольфа Рейхеля

Адольф Рейхель

1880е

Все, что я могу сообщить о Михаиле Бакунине, состоит из нескольких отрывочных указаний, которые конечно могут касаться только близких дружеских отношений, существовавших между нами много лет. Эта дружба была основана на чистоте идей, которой он руководствовался в своих политических делах, а я в музыкальных, вследствие этого нам никогда не приходило в голову спрашивать друг друга о наших личных делах; поэтому я не в состоянии дать никаких пояснений о том, какие отношения он поддерживал с семьей и отечеством, которых он рано покинул. Вспоминая признания, которые редко вырывались из него, я могу только сказать, что он питал к своему отцу безграничное уважение и любовь, а к матери чувствовал такое сильное отвращение, которое, по его собственным словам, доходило даже до ненависти. Он не был в хороших отношениях ни с кем из братьев и сестер, кроме брата Павла, который был моложе его, и сестры Татьяны, к которой он проникся прочной и сердечной симпатией.

В 1842 году, один общий знакомый представил мне трех молодых русских, которые, все три, поразили меня своим необычайным ростом. Это были Михаил и Павел Бакунины и Иван Тургенев, который в последствии приобрел такую известность своими замечательными романами, Михаил скоро сумел, увлекательной силой своей речи, завоевать мою симпатию и симпатию моей старшей сестры, которую он и сохранил верно и преданно до самой своей смерти. Когда, вскоре после того, Тургенев и Павел возвратились в Россию, он (Михаил) предпочел продолжать свое пребывание за границей.

Бакунин, который был тогда красивым молодым человеком, не мог не производить, своим блестяще одаренным умом, сильного влияния на людей, которые горячо противились его взглядам, тогда уже открыто революционным, и Германия скоро сделалась для него страной на столько опасной, по причине его личных отношений с Гервегом, что он счел за лучшее не оставаться дольше в Дрездене, а уйти на свободную почву в Швейцарию; там, сперва в Цюрихе, потом в Берне, он мог рассчитывать на безопасное убежище против русских преследований. Незадолго до его выезда (это было в начале 1854 году) я имел случай присутствовать у него

на собрании нескольких молодых немцев, и там, в числе прочих, я познакомился с Арпольдом Руге, издателем «Hall'sche Jahrbücher», где Бакунин поместил свою записку, которой главным пунктом были эти слова: «Дух разрушения есть творческий дух». Как странно должны были звучать изречения для меня, замкнутого в моей музыкальной области, занятого скорее сохранением приобретенного блага, чем уничтожением предполагаемого зла, в то время как мне в этом собрании предсказывали близкую, огромную всеобщую революцию, после которой карта Европы должна была представлять совершенно новый вид. Но возбужденные голоса гостей покрывали слабые возражения музыканта-консерватора, и он ограничился тем, что заключил пари с Бакуниным, который утверждал, что в течении пяти лет, весь политический строй Европы подвергнется полному изменению. Это пари было проиграно обеими сторонами, хотя через пять лет после того и была произведена революция в Париже. Слишком ясно чувствовалась с самого ее начала, что для ее успеха необходимы более продолжительные изменения и более жестокие сражения, чем те, какие могли быть даны во время трехдневного мятежа. Теперь всякий знает, что вместе с политическими интересами выступали на первый план и социальные, которых не могут уладить ни войны, ни договоры, которые могут быть удовлетворены только путем природы и воспитания. Так и Бакунин нашел, при своем прибытии в Швейцарию, зародыши коммунистического движения, и его подстрекало присоединиться к нему лично и направлять, как можно лучше, революционные намерения. Когда, после недолгой разлуки, мы встретились, осенью 1843 года, в Женеве, мы сначала быстро объехали Швейцарию, чрез Шамуни, большой Сен-Бернар, Гримзель, Фурку и так далее, и проживши некоторое время над Женевским озером, мы собирались поселиться на более долгое время в Берне: но это время, к несчастью, было сокращено сообщением русского посланника в Берне, который, по желанию правительства Петербургского, отдал приказание Бакунину возвратиться немедленно в Петербург. Бакунин очень хорошо знал, что его поездка туда легко может продолжиться до самой Сибири, и, так как посланник не мог ему дать никакой гарантии относительно этого, то Бакунин предпочел поискать другого места жительства, где бы он мог укрыться от России, и, после некоторого размышления он нашел, что это убежище – бельгийское государство, тогда еще молодое. Так как наша дружеская связь стала еще крепче вследствие нашего общего путешествия и сердечного приема, сделанного нам семейством профессора Фогта (Адольф Фогт, тогда студент медик, к нашему удовольствию присоединился к нам), – Бакунин и я направились вместе, в половине Марта 1844 года, в Брюссель, где мы нашли обильную пищу, он для своих революционных интересов, я для музыкальных. Так как Брюссель находится почти на дороге из Москвы в Париж, то Бакунину случалось время от времени видаться с кем-нибудь из своих друзей, которые, хотя и редко разделяли его крайние взгляды, но очень хорошо понимали, что он в изгнании. Само собой разумеется, что Бакунин деятельно поддерживал отношения с польскими эмигрантами в этом городе (из всех их наиболее интересовал его профессор Лелевель), хотя в то время еще были невозможны приготовления к серьезному восстанию: это должно было случиться позже.

По приглашению одного московского друга, весной 1844 года, он ездил ненадолго в Париж, и возвратился оттуда таким возбужденным от впечатления, которое про-

извело на него могучее оживление парижского населения, что легко опроверг мое суждение о нем и я наконец, хотя и с отвращением, дал себя убедить поселиться там, по крайней мере на время празднеств в честь июльских дней; впрочем, я еще не пришел к окончательному решению. Но возможный разрыв нашей тесной связи был предупрежден как стечением обстоятельств, так и уступчивым направлением моего характера, и вскоре я нашел в Париже занятие, подходящее и производительное для моей музыкальной деятельности, так что пятнадцать дней, которые я обещал провести в этом городе, обратились в почти столько же лет.

До сих пор Бакунин направлял предварительные усилия к революции, может быть слишком ожидаемой, скорее теоретическим и спекулятивным образом, но в Париже он не только нашел подходящий случай присоединиться деятельно к революционным элементам (в этом ему помогло знание французского языка и отношения с редактором «National», Марастом), но и был поощрен к дальнейшему развитию своих нравственных сил, для того чтобы быть в состоянии принять участие в движении, которое могло вскоре наступить. Так он занимался все с большим и большим увлечением революциями уже бывшими во Франции, словами и действиями государственных людей, которые направляли их течение или погибли в них; это давало мне часто повод подшучивать над его *вечной* книгой, которую он писал каждый день с тем, чтобы никогда не кончить. Я не могу отрицать, что при наших все более и более тесных отношениях у нас было много пунктов разногласия: так как взрыв, к которому фатально должны были привести разрушительные идеи был еще слишком далек от моего мирного образа мыслей, то я не мог, подобно Бакунину, говорить с удовольствием об этих вопросах. Однако я не мог и не хотел противоречить его симпатиям, и это еще более усиливало его революционные стремления. И, как уже сказано, эти стремления направлялись к изменению не только политического, но и общественного строя, и сам Прудон, который в своей книге: *Что такое собственность?* бросил перчатку буржуазии, не пренебрегал советами этого русского, известного как решительный гегельянец.

После речи, открыто держанной на одном собрании польских эмигрантов, где он решительно выразился – *не несмотря на то, что он русский, а именно в качестве русского* – против мер, принятых в Петербурге против Польши, ему, по просьбе русского правительства, было запрещено французским правительством дальнейшее пребывание во Франции и Гизо с тем большей готовностью передал это приказание Бакунину, что местная оппозиция причинила ему уже много неприятностей и он едва переносил беспокойных иностранцев. Бакунин возвратился в Брюссель, куда к нему легко могли доходить новости о всех парижских событиях; и когда, в феврале следующего года, произошла в Париже революция, я встретил его на другой же день утром среди самых возбужденных монтаньяров, в одном погребе на Сент-Антуанском предместье. Восторженный характер русского эмигранта совсем не подходил к сверженному правительству, а новое временное правительство Французской Республики настолько не было склонно предпринимать что-либо с ним вместе, что, несмотря на подозрения противной ему социалистической партии, которая старалась выдать его за посланного от русского правительства (эти подозрения скоро были опровергнуты), сочло за лучший способ избавиться от него, послав его в Берлин, но не официально; там, думалось, наверное его пламенная речь очень

поможет пропаганде революции среди революционных кружков. Действительно он завел там, насколько мне известно, деятельные сношения с Вальдеком и его товарищами; я не знаю, принимал ли он деятельное участие в берлинском восстании 1849 года, но его участие в революции, вскоре происшедшей в Дрездене, вне сомнения; и потом еще долго передавались рассказы об этом самые веселые и самые ужасные. Когда, при помощи Пруссии, дрезденское восстание было усмирено и город взят, то предводители должны были сдаться, а некоторые из них, а в том числе и Бакунин, были заключены в Хемнице; и вскоре после того переведены в крепость Кенигштейн, где им предстояла смерть. Кажется, только известный отказ Бакунина просить о помиловании задержал исполнение судебного приговора: впрочем, может быть этому препятствовали и политические соображения, и суд приговорил его только к пожизненному заключению в крепости. Но, через год, этот приговор был заменен выдачей на австрийскую территорию по требованию тамошнего правительства, так как Бакунин обвинялся также в участии в Пражских волнениях. Я прилагаю к настоящим запискам два письма, помеченных еще Кенигштейнской крепостью, которые он мне писал оттуда: несмотря на чувство безотрадного одиночества, видно, что с ним обращались гуманно.

После перевода его в одну крепость в Моравии, я не получал никаких известий ни от него, ни о нем, и только из смутных слухов узнал, что обращение с ним было там самое жестокое, как с большим преступником: у него обе руки были в цепях, что отнимало у него всякую свободу движений. Это состояние продолжалось до той минуты, когда он был выдан русскому правительству по требованию последнего, и когда, в Шлиссельбург, при варварском вообще правлении Николая, он нашел строгое обращение, но все-таки более человеческое, чем которому он подвергался в австрийской крепости. Николай дошел даже до того, что спросил у Бакунина откровенного мнения, после опыта, который он приобрел за границей, о состоянии революционных движений. Арестант согласился удовлетворить этой просьбе с обычной прямоотой, но отказался наотрез сделать какие бы то ни было сообщения могущие компрометировать людей его партии: так что Николай, на записках Бакунина, собственноручно написал приказание держать подальше, под усиленной стражей этого умного и столь же опасного человека. Что касается дальнейших событий его жизни, то я отсылаю читателя к сообщениям Александра Герцена, помещенным в его воспоминаниях; ему, лучше, чем мне, были известны все события жизни Бакунина. Бакунину я обязан личным знакомством с Герценом, так как я присутствовал при первой встрече двух самых отважных бойцов славянской революции, незадолго до французской революции, на Бурбонской площади, где было мое жилище. Хотя Герцен, при его несравненно большем политическом смысле, и не мог удовольствоваться понятиями Бакунина, которые сводились к разрушению всего существующего, и еще менее мог согласиться с ними, но благодаря своему ясному и проницательному взгляду, он не мог не чувствовать симпатии к этой замечательно даровитой натуре; никто не сумел лучше его дать такой поразительный образ нескольких черт его существа, несмотря на то что эти беглые очерки занимают так мало места.

Когда, в апреле 1848 года я провожал Бакунина на почту, в обществе Этьена Араго, тогда начальника управления почт, я не предвидел, что потерю надолго из виду моего старого друга, и еще менее, что ему предстояли долгие годы сурового заключения,

самая мысль о котором, еще и раньше, всегда казалась ему самой ужасной перспективой. Однако же у него хватило сил перенести и превозмочь это тяжелое испытание страданий и лишений, благодаря гибкости его ума и несмотря на чувствительную потерю здоровья и телесной крепости.

После смерти императора Николая, мать Бакунина от своего имени, старалась выпросить помилование для сына у Александра II, но напрасно. Согласно приказанию отца, Бакунин, правда, был выведен из Шлиссельбурга, но был сейчас же сослан в самые отдаленные места Сибири, в Приамурский край. И, во время путешествия, он неожиданно увидел в Томске, у тетки моей жены, карточку друга, оставленного в Париже, это послужило ему поводом сообщить мне о том, как с ним обращались. Рассказ о его побеге, к счастью удачном, на американском корабле отправлявшемся из Сибири, его приезд в Лондон, его революционная деятельность, за которую он сейчас же принялся, и которую он посвятил, но еще без результата, освобождению Польши, – все это описано у Герцена, я же видел его в первый раз в 1868 году здесь, в Берне, по случаю первого съезда Лиги Мира и Свободы. Все опасности и лишения, каким он подвергался, казалось, не сломили силы его духа и воли, и, хотя его внешний вид не имел уже изящества и ловкости блестящего артиллериста-гвардейца, но он придавал ему сходство с пророком или реформатором, как мы привыкли видеть их на картинах; я нашел в нем несокрушимую отвагу и нравственную силу, и его ближайшая среда, которая шла к нему как двор составленный по его образцу, придавала некоторым образом еще больше внушительности всей его фигуре. Изящество его одежды и внешних приемов, которых он прежде щеголял, уступило, правда, место невероятно небрежности; но, в общем, она не менее шла пожилому человеку, чем изящество молодому, и еще более возвышала то бесспорное достоинство, которым было проникнуто все его существо.

Отсюда Бакунин уехал, по закрытии съезда Мира, в Тессин, куда раньше отправилась его жена, полька, на которой он женился в Сибири. Один итальянский землевладелец, Карло Кафьеро, пламенный последователь и приверженец социалистической пропаганды, посвятивший свое большое состояние коммунистическому предприятию, соединился с ним в Лугано, где он основал, через несколько лет, общество на началах общего труда.

Впрочем, здоровье Бакунина было подорвано, и его непреклонная воля могла поддержать только до 1876 года его все более слабевшее тело; и, ясно предвидя свой близкий конец, он прибыл в июне этого года, к нам, своим старым и самым дорогим друзьям, и как только приехал, сказал Адольфу Фогту и мне: «я приехал к вам умирать». Медицинское искусство нашего друга не могло остановить хода болезни; и, хотя в продолжении почти сорока дней, беспокойный дух Бакунина был все время живым и деятельным, так что последние его разговоры сохраняли юношеский характер прошлых годов, но мы скоро должны были оставить всякую надежду на его выздоровление, и 1 июля он умер после короткой но сильной агонии. В нем мы схоронили глубоко страстную натуру, которая вся выразилась в пламенной ненависти против всего, что, без права, ставило препятствия человеческой свободе, благодаря силе или по преданию. Это чувство, которое беспрестанно проявлялось возмущением, очень хорошо мирилось с самыми нежными ощущениями, поэтому он чувствовал пристрастие к музыке, которое он сохранял всю жизнь, и которое может

быть не мало было поддержано и воспитано нашей долгой совместной жизнью. Он, говоривший не только хорошо, но и охотно, мог слушать молча, по целым часам, музыку, творения Бетховена самые трогательные и страстные производили на него самое живое впечатление, но он не был бесчувствен и к более нежным душевным движениям, если только они выражали чисто человеческие чувства. Еще в тот вечер, когда он в последний раз прибыл в Лугано, он пришел ко мне развлечься музыкой и только в ту минуту, когда усиленная боль опять схватила его внезапно, он вскричал: «Довольно, не могу больше!» И я должен был проводить его в ближайшую больницу, из которой ему не пришлось выйти.

Я сожалею, что у меня нет в руках подробного отчета о его последних днях, написанного мной для Карло Кафьеро, так как теперь я не в состоянии вспомнить всего из наших разговоров, что могло бы возбудить некоторый интерес в других. Как все натуры, расположенные к предприятиям и абсолютным действиям, он не мог переносить никакого суждения или соображения очевидно парализовавшего его непосредственную силу действия; я помню, как в прежнее время я спрашивал его в виде возражения, что он намерен делать если бы исполнились все его реформаторские планы, он мне ответил: «Тогда я все опрокину. А ты играй, милый друг, и порассуждай! Ты знаешь не хуже меня, что перед вечностью все тщетно и ничтожно». И после этого он мог совершенно погрузиться в музыку, которая не позволяла никакого вопроса и не требовала ответа. Он имел такую верную память, что, после нашей долгой разлуки, он мог напомнить мне мелодии, о которых я давно забыл. Он утверждал, что часто, в тюремном уединении, эти мелодии утешали его и оживляли. И как музыкальные впечатления оставались верно в его памяти, так же неизменно удерживал он отношения с людьми связанными с ним дружбой, а они и в разлуке с ним сохраняли к нему любовь и привязанность.

На Бернском кладбище, близ Брунгартенвальда, возвышается камень, поставленный над ним семейством Фогтов, где погребено его беспокойное тело, и моя дорогая жена охраняет его, насколько ее беспокойная жизнь позволяет ей выбирать время, чтобы вспоминать о тех, кого уже нет.

Хотя в прежние времена могли выказываться только отношения личной дружбы, существовавшие между нами, но это не исключало того, чтобы меня сильно поражали общие истины, которыми блистал его ум, и если я желаю, чтобы сообщения об особенностях его жизни были записаны с талантом, то при этом я надеюсь, что такая работа не будет подчинена партийному духу, который всегда принимает во внимание только одну сторону дела, а что она будет представлять очерк, в котором образ его жизни не останется слишком в тени, о котором будет поставлено на вид, как действительное значение его воли и деятельности, стремление к общему благу и праву, за которое страдал всегда восторженный Бакунин.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт и инфоанархизм



Адольф Рейхель
Воспоминания о Бакуине Адольфа Рейхеля
1880е

Оригинал «La Révolte» supplément au №№ 10, 11, 12, перевод на русский - "Письма
М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву".

ru.anarchistlibraries.net